

**«Что будет? Что будет?»**

Отношения критики и писателя всегда непросты. Они и просты вместе с тем. Один писатель сказал мне: ты не мой критик. Когда я пытался выяснить, что это значит, он мне объяснил: ты обо мне не пишешь.

Я о Федоре Абрамове писал только раз. Мы много лет были с ним в дружеских отношениях, однако никогда не переходящих в приятельство, мы встречались, изредка обменивались письмами, но ни тени личной литературной заинтересованности в наших отношениях не было. Я любил Федора Абрамова как писателя, он импонировал мне как человек, – Абрамов, видимо, неплохо относился ко мне. Во всяком случае, его публичные заявления и высказывания, если он касался критики, всегда были поддержкой для меня, опорой. Я с первых минут нашего знакомства смотрел на него как на старшего, и не только потому, что он был старше меня на десять лет, но и потому, что наше поколение – поколение детей войны – всегда смотрело на воевавших как на своих отцов. Так мы относимся к ним и по сей день.

Я помню Абрамова всяким – пылающим гневом, даже раздраженным, не желающим слушать никаких доводов собеседника, упрямым в настаивании на своей точке зрения, и – мягким, растроганным до слез, почти что ручным в минуты, когда он вдруг проникался заботами другого человека и думал только об этом человеке и ни о чем другом. В эти мгновенья и взгляд его, устремленный в себя, хмурый, отпугивающий, становился притягивающе нежным, ласкающим.

А хмур его взгляд был потому, что смотрел он исподлобья, из-под высокого лба, нависавшего над упрятыми в глазницы глазами. Да еще обычно сжатые губы подчеркивали эту хмурость. Когда меня познакомили с ним в 1965 году (было это на лестнице Дома союзов во время съезда писателей), он подарил меня именно этим взглядом. И взгляд этот говорил: я еще подумаю, я еще разберусь, что ты за человек.

Тогда еще не отгремели страсти по поводу очерка «Вокруг да около» – Абрамов был напряжен, готов к отпору, к защите. От него ждали покаяний, он не каялся. Он и не думал меняться, перекрашиваться, признавать свои ошибки. Он был из тех, кто, однажды выбрав какие-то убеждения, уже не мог играть ими, веря в них, цинично отречься от своей веры, шевелить ушком, как говорят в таких случаях.

Таким скрытным, закрытым я знал его много лет. Потом он «оттаял», стал милосердней к знакомствам, податливей к расположению, взгляд его смягчился, хотя временами как бы останавливался и замирал в какой-то твердой точке.

Дружить с ним было нелегко. Как всякий страстный человек, Абрамов был тяжел в общении, переменчив: только что был лед, стал пламень, «заводясь», он уже не знал удержу, впадая в уныние, впадал в него глубоко, вплоть до погружения в мировую скорбь, хотя причиной такой скорби всегда была какая-то конкретная несправедливость.

В последний раз, когда мы виделись с ним за три недели до его кончины (в гостинице «Москва»), он рассказывал мне горячо об одном писателе, которого не пустили в заграничную поездку, Абрамов пришел тогда просить, за него к С. Михалкову.

И тот без околичностей объявил Абрамову, что они предпочитают, чтобы «ездили свои». «Понимаете, Федор Александрович, «свои». И, как бы завершая разговор, добавил, чтобы на эти слова Абрамов не ссылался: «Я ведь отрекусь, скажу, что ничего такого не говорил...».

Абрамов бушевал. Лежа в постели — он уже болел, у него была высокая температура, — он изливал свое возмущение в самых страшных словах...

Я помню, когда его избрали секретарем Союза писателей СССР, он позвонил мне из Ленинграда и сказал: учти, я теперь секретарь, я, если нужно, могу помочь кому-то, звони. Это была его первая реакция на совершившееся событие.

Придя как-то раз ко мне домой и оглядев убранство моей квартиры, он сказал: «Слушай, возьми у меня займы, у меня много денег». Всю жизнь живя в нужде, он не мог привыкнуть к той обеспеченности, которая пришла к нему, и как-то стыдился ее. Провожая его до метро, я был удивлен, что он отказался спускаться в метро и стал ловить такси. Я убеждал его, что на метро он прямо доедет до нужного ему места, он твердил, что у него много денег и ему некуда их девать.

У Абрамова было чувство вины и стыдливости перед теми, кто не мог себе позволить того, что мог позволить он. Он потому и дом выстроил скромный в деревне, и одевался, как и все. Придя к нему в гостиницу «Москва», я, помню, удивился роскоши отведенного ему номера. Но у входа на вешалке висела в богатом холле скромная кепочка Абрамова — та кепочка, которую носят в деревне, с картонным ободком внутри.

Наши беседы, когда они касались литературы, всегда бывали всегда были односторонне горячи, горячи со стороны Абрамова, потому что говорил по большей части он; я, слушая его и часто не соглашаясь, молчал, потому что, если подбросишь сухое полешко в спор, он вспыхнет до небес. Абрамов был праведен и неправеден в своих оценках, чужой успех его возбуждал, а ложная слава просто бесила, но, как бы он ни был резок в перепадах отношения к тому или иному писателю, он бесповоротно высоко ставил талант и поклонялся таланту.

Помню, в начале шестидесятых годов он сказал мне о Белове: «Запомни это имя, большой писатель идет на Русь». Тогда Белова никто не знал, он был автором сборника стихов и нескольких рассказов. Абрамов и позже свято чтит Белова, оказывал ему уважение, какое старшие редко оказывают младшим. На юбилее Абрамова в Доме писателей им. Маяковского в Ленинграде собралось много народа. Были земляки из Верколы, друзья Абрамова — художники, театральная молодежь. Абрамов, выйдя на сцену, где сидел Белов, сказал, что он рад, что в этом зале присутствует прекрасный русский писатель Белов.

Я не раз замечал в нем эти проявления щедрости, даже благоговения к другому таланту, к чьей-то чести, чьему-то достоинству, мужеству, силе. Абрамов был человек благодарный, и он благодарил судьбу за то, что она столкнула его с людьми незаурядными, редкими. Он умел смотреть на этих людей снизу вверх, он этим людям никогда не забывал поклониться.

И всегда винил себя в том, что не сделал этого ранее, если человек уже ушел, пропал из вида, отошел от него. На своем юбилее он так кланялся и памяти врача, спасшего его в ленинградском госпитале, и учителю Калининцеву, и академику Лихачеву, и землякам своим, сидевшим в первых рядах в зале, и молодым артистам студии Льва Додина, которые сделали праздник юбилея истинным праздником.

Этот колючий, неуживчивый человек был привязчив, влюбчив, ревнив в любви и страшно требователен. Раздается звонок из Ленинграда, у трубки Абрамов — жди разноса, какого-нибудь неудовольствия. Правда, разнос отцовский, строгий, небидный: видишь, что человеку небезразлична твоя жизнь, твоя особа, как говаривали в старину.

И вместе с тем увлекался он, как мальчик. Поэт Андрей Вознесенский посвятил Абрамову стихи. Доселе относившийся к Вознесенскому прохладно, Абрамов стремительно потеплел к нему. И когда я ему сказал: «А где же твоя последовательность, ты говоришь, что евангелие

от Абрамова – это любовь, а тут нет никакой любви, одни рифмы», он упрявился: «Нет, он хороший поэт». И, сделав некоторую паузу, добавлял: «Он обо мне стихотворение написал».

То же было и с Мариэттой Шагинян. Она где-то похвалила Абрамова, и он тут же размяк. Он говорил, что она замечательная, несравненная, мудрая и т. д. Все это говорит о том, как мало ему выпадало в жизни ласки, похвал, участия со стороны людей. Он этого участия искал, к этому участию привязывался, хотя, казалось бы, куда больше: вся страна его знает, вся страна читит.

Страна-то читала, а критика не очень. Сейчас мы при каждом случае поминаем Абрамова, хвалим Абрамова. Но при жизни не так много доставалось ему похвал. Все с оговорками принималось, все не без сносок, что, мол, талант, конечно, налицо, но гнет писатель не туда.

Помню его обиды на критику, на «Литературную газету», которая его не признавала, на архангельское начальство, которое имя Абрамова вообще поставило под запрет, на друзей-писателей, которые в Ленинграде не очень-то любили Абрамова. Он там был одинок, и его частые звонки в Москву – иногда так просто, чтоб узнать, как жизнь, как здоровье, – тому подтверждение.

Когда вышло «Письмо к землякам», Абрамов и вовсе оказался в кольце непонимания. Не поняли его даже те из писателей, дружбой которых он дорожил, с которыми чаще всего и виделся, встречался. «Письмо» было воспринято ими как поклеп на народ, который почему-то должен расплачиваться за грехи начальства. «Письмо» перепечатали в «Правде», его прочитали все, но в тексте, явившемся в «Правде», в отличие от текста, напечатанного сначала в районной газете, были сделаны немногие, но существенные изменения. Были сняты строки о пьянстве как национальном бедствии, поумерена критика, вырезаны примеры высоких надоев молока в Финляндии, которые приводил Абрамов. Вспоминал Абрамов и письмо земляков к нему, написанное в 1963 году после выхода очерка «Вокруг да около». То письмо было резкое, полное политических обвинений, и называлось оно «Куда зовешь нас, земляк?». Абрамов возвращался памятью в то время и писал: «Немало было в том письме... несправедливых упреков». «В «Правде» сняли частицу «не», и получилось: «Немало было в том письме справедливых упреков». Выходило, что Абрамов признавал несправедливые наветы письма земляков. Прочитав текст в «Правде», многие сказали себе: вот, опять писатель крутит. В одном месте пишет одно, в другом – другое. Обиделись за это, обиделись за то, что нет критики начальства, обиделись вообще – не дело литературы поносить народ, народ, дескать, сам разберется.

Но Абрамов-то и призывал к тому, чтоб народ сам в себе разобрался. Чтоб взглянул, что называется, в зеркало.

Приехав в Москву, он позвонил и целый вечер провел у меня дома, рассказывая, как бичуют его братья-писатели. Его речь была полна ярости и боли. «Неужели они не понимают, что я лучшего хочу, хочу, чтоб народ проснулся!» Иногда его голос срывался на отчаяние – реакция народа, который сначала взялся за дело, что-то расчистил, почистил, а потом бросил все, и все пошло по-старому, реакция начальства (а оно решило, что писатель бунтует народ), реакция братьев-писателей, кажется, доконали его.

Тот вечер я запомнил как вечер отчаянных оправданий Абрамова, речей в свою защиту, в защиту своей правоты. Мало кто тогда оказался рядом с ним. Разве что жена и некоторые из близких.

«...Я рад, что мы с тобой люди одной веры, – писал он мне. – А то ведь иной раз так вокруг темно и безнадежно, что хоть вешайся». У меня сохранилось несколько записок и коротких писем Абрамова – больших писем он мне не писал. Все ушло в телефон,

в телефонные пространные беседы, которые улетучились, растворились в воздухе. Осталась только интонация, звук голоса.

Осенью 1982 года он жаловался на болезнь, говорил, что долго не проживет, что вот ему сейчас оттяпают пол-легкого и я приеду в Ленинград его хоронить. Но он выбрался из этой болезни. Я хотел даже взять у него интервью для одного журнала, он согласился, но, когда я передал ему вопросы, на которые он должен был ответить, Абрамов рассердился, что вопросы абстрактные, книжные, что нужно думать о том, как накормить Россию, а не о том, какова должна быть форма литературы. Мовизм он, кстати сказать, отвергал. Он видел в нем «пустословие, мертвечину».

Последнее наше свидание было кратким. Стоял апрель 1983 года. Что-то начинало ломаться в жизни, сдвигаться, что-то осыпалось, трещало, как трещит лед на реке, не желая прощаться с зимой. Абрамов был встревожен. «Что будет? Что будет?» – спрашивал он не столько меня, сколько себя. И ответа ясного не было, все было неясно. Как все мы в те дни, Абрамов ждал, Абрамов надеялся.

Больной, слабый, он все порывался встать, как бы взмахнуть крыльями, как делает это птица, которая хочет оторваться от земли, но тяжесть болезни держала его, не давала подняться. Глядя на него, я подумал, что он еще и не летал в своей жизни как следует, еще не раскрывал крыльев до полного взмаха.

В тот момент, когда он должен был взлететь высоко-высоко, смерть его и сразила.